

Поездка к сыну

Анна Фоминична уезжала из деревни рано утром на машине, которую дал председатель колхоза. Уезжала, заколотив окна в избе крест-накрест досками, а на дверь повесила большой амбарный замок.

Изба была хорошая, с доброй русской печкой, которой Анна Фоминична особенно гордилась: топились не дымно, дров брала мало, но тепла давала много и подолгу не остывала. Испечёт, бывало, Анна Фоминична караваи, на стол выложит, сверху холстиной накроет, так даже с улицы соседки заглядывают на хлебный дух. Знатные хлебы выпекала Анна Фоминична в своей печи.

И сама изба была ладной и уютной: в переднем углу комод стоял, а на нём трёхстворчатое зеркало. Сверху на стене висела картина Крамского «Незнакомка». Кровать занавеской отделена, а кухня от комнаты — деревянной перегородкой. По бокам у обеденного стола — фотографии. Родителей Анны Фоминичны, её самой, мужа покойного, сына Алексея. Последних было особенно много. Вот он в шестом классе. Галстук набок сбился, вихры торчат... А это — в армии у машины стоит: гимнастерка нараспашку, с волос ещё вода стекает... Рассказывал потом, что в тех местах, где служил, жара большая стоит, вот и освежился на бегу, а тут его дружок и сфотографировал.

Ещё фотография — Алёша с молодой женой. На одной они кольца друг другу надевают, на другой — целуются, на третьей — в книге расписываются. Ниной его жену зовут. Девушка ему досталась красивая и образованная. С дипломом. Вот этот диплом-то и сыграл свою роль в том, что молодые переехали в город. Не было Нине работы здесь по специальности. Как ни жалко было, но проводила Анна Фоминична молодых в Читку.

А сама стала одна жить. Поначалу сильно скучала по сыну, пожалуй, сильнее, чем когда он был в армии. А потом свыклась, притерпелась как-то. Да скучать-горевать сама жизнь не давала. В стайке корова, свинья с поросятами, куры да собака с кошкой. Пока всех накормишь, в избе приберёшь, чаю напьёшься да обед и ужин сготовишь, корову подоишь — глядишь уже вечер на дворе.

Так дни и шли...

От Алексея все больше открытки приходили. Он писал коротко и бодро, словно начальству рапортовал: «Живы, здоровы, получили квартиру с подселением».

Что такое «с подселением», Анна Фоминична не представляла, но думалось ей, что это лучше, чем в общежитии. Ведь не дадут её ударнику Алексею жильё какое попало. Опять же, Нина в ГПТУ преподаёт, готовиться к урокам надо, книжки читать, записи делать. Наверное, и стол купили, и шкаф книжный.

О шкафе и столе Анна Фоминична узнала из последнего письма Нины. Та писала редко, но обстоятельно: сколько зарабатывают, сколько тратят, что купили, а что намечают купить, какой цвет у рубашки, которую она подарила Алёше на 23 Февраля, и какие духи он ей подарил на 8 Марта.

Почти два года жили молодые в городе. За всё время Алексей приезжал два раза. Картошку помогал сажать, а потом — уже осенью, в октябре. Заехал на машине с товарищем, покидали в кузов десять кулей картошки, мяса, что накопила Анна Фоминична, и умчались, даже ночевать не остались.

А потом снова пришла открытка: «Живы, здоровы, дали двухкомнатную квартиру. Комнаты отдельно, санузел тоже, газ, горячая и холодная вода».

Анна Фоминична первым делом рассказала об этом Капке Мироновой. Никудышной старушонкой считалась Капка в их деревне. До семидесяти дожила, а её и ребятня Капкой зовет. А имя ей другое и не шло: малюсенькая, зимой в плюшевой кацавейке и широченной юбке, которая хлесталась вокруг её тощих ног, летом — в мышинного цвета платье и переднике, — она целыми днями шастала по дворам и носила из одного дома в другой новости. Да хоть бы правду сказывала, а то прибавит с пару коробов, и притом глаза делает честные.

Капка зашла, как всегда, не снимая валенок, на что чистоплотная Анна Фоминична глянула неодобрительно, но Капка, нимало не смущаясь, прошелестела к столу, уюстилась на табуретке и затараторила, как сорока, обо всех и всём.

— Иван-то Поддубов вчерась трактор опрокинул. Залил зенки-то винищем и в

Мангут попёр. Мало, вишь, ему показалось. Ну и кувыркнулся у большой берёзы на стрелке... Аж протрезвел со страху, когда вылез из кабины-то...

— Живой али как? — забеспокоилась Анна Фоминична.

— Живой-живой, что ему сделается! Дуракам да пьяницам сроду везёт.

Капка тарахтела, а сама зорко следила, что ставит Анна Фоминична на стол. Убедившись, что чай заварен не со щепотки, а с доброй горсти и сахару не два кусочка лежит, да сметана не на донышке миски размазана, удовлетворённо передохнула и завелась пуще.

— Сонька вчерась снова выгнала своего с дому-то... Все вещи повыбрасывала за порог и даже кожанку...

— Опять разводятся? — нахмурилась Анна Фоминична, разливая чай.

— Опять-опять... да милые ругаются — только тешатся... Через неделю придёт, и встарь жить будут.

Она рассказывала и успевала наливать третью чашку, намазывать на хлеб сметану, смачно откусывать сахар (седьмой десяток, а зубы, как у семнадцатилетней), и Анна Фоминична еле уловила щёлочку, чтобы просунуться со своим разговором.

— Мне-то Алёшка открытку прислал. Пишет, что двухкомнатную квартиру получили: всё отдельно — и кухня, и эти... санузлы, и комнаты. И вода всякая бежит...

— Ой, — счастливо всплеснула руками Капка. — Вот радость-то! Теперь их сюда и калачом не заманишь. Ты хоть в гости съезди, погляди...

— Да я бы надумала, но куда бросить животины-то. Да и топить надо...

— Печаль нашла! Истоплю и Зорьку подою. За неделю управишься?

— За неделю-то управлюсь. Да я ещё подумаю...

Капка умчалась, оставив на полу следы от валенок, и Анна Фоминична, подтирая их тряпкой, мысленно представила, как она уже сидит у кого-нибудь из старух и хвастает, что её, Капку, Анна Фоминична попросила подомовничать, потому что она едет в Читку к сыну в гости.

Одного не сказала Анна Фоминична Капке: в открытке о приглашении не было ни строчки. А ехать так просто было не то что неудобно, а гордость не позволяла: не зовут, кланяться не будем, а вот если кликнут...

И словно подслушали её мысли. Через неделю пришло письмо от невестки. Как всегда, она обстоятельно описывала свою жизнь и вроде между прочим заметила, что скоро будет рожать, а поскольку её мать живёт на Урале, то хорошо бы Анне Фоминичне переехать к ним насовсем.

Такого поворота Анна Фоминична не ожидала. Одно дело поехать на недельку, а тут... Она разволновалась так, что не стала смотреть в тот вечер любимую программу «Время», а села у окна думать.

Из дум выходило одно: невестка ей не чужой человек, она хоть и образованная, но пелёнки и грудных младенцев издавека видела. От мужика проку мало, они по большей части только мешаются. Значит, ей надо ехать.

Анна Фоминична многое умела в этой жизни. Сына, считай, одна вырастила, на ферме тридцать лет работала так, что её портрет с районной Доски почёта не убирала, и орден за молоко в заветной коробочке лежит. В деревне её уважали и прислушивались.

Любое решение Анна Фоминична принимала так: если совесть не против, значит, делает она верно. Вот и сейчас что-то говорило ей: надо ехать. Нынешние молодые хоть и самостоятельные и деловые, а в чём-то более беспомощные, чем они в пору своей молодости.

Осмыслив всё, Анна Фоминична села за ответное письмо. Она была грамотной, в своё время окончила семилетку, но в те годы (Анна Фоминична в этом уверена) учили лучше, и она до сих пор помнит многие правила. К ней вот и Капка письма писать бегают своему беспутному племяннику, что в Южно-Сахалинске какой год рыбу ловит и глаз не кажет к любимой тёте...

Надев очки, Анна Фоминична шершавой ладонью разгладила тетрадный листок и вывела первую строчку. Сначала она передала бесчисленные поклоны от родни и знакомых, потом описала погоду и деревенские новости, а уж потом приступила к главному.

«Придётся мне, — писала Анна Фоминична, — продать Зорьку, чушку, а кур соседям раздать. А с избыю не знаю, что делать. Квартирантов у нас не имеется, значит, заколочу её, и пусть стоит». И уговорилась Анна Фоминична дать ей время на сборы, потому что быстро такие дела не решаются. И пусть за ней придет Алексей, так как одной уезжать тоскливо и боязно.

Трудно ей было расставаться с деревней, людьми, которых она знала, и которые знали её. Расставаться с привычным укладом жизни, огородом, коровой Зорькой. Но при разговорах с соседями, а особенно с Капкой, Анна Фоминична держалась твердо, хотя наедине с собой частенько смахивала слезу. Капке она пообещала отдать комод и картину «Незнакомка», прочие вещи продать.

Зорьку купили быстро, не рядясь. Корова она была удоистая, смиренная, молока давала в хорошее время больше ведра, да такой жирности, что один городской гость уверял, что у них такие сливки продают. Поэтому, выложив три сотни, Сергей Банщикова со своей женой быстренько погнали Зорьку со двора, от верной удачи забыв попрощаться с Анной Фоминичной.

Зорька пошла, не противясь, тем более что Анна Фоминична прикрикнула на неё и зачем-то толкнула в бок. Но уже за воротами Зорька, натянув веревку, повернула голову и негромко мыкнула, словно недоумевающая, почему она должна куда-то уходить.

С этого момента Анна Фоминична уже с каким-то остервенением расправилась с остатками своего хозяйства, потому что после коровы ей ничего не было жалко.

До намеченного срока остался день, когда вечером к ней в пустую почти избу зашёл председатель колхоза. Был он молодой, но уважительный, дело делал, по мнению Анны Фоминичны, толково. И хотя не местный, но, зная всех и всякого хорошо, правил колхозом толково.

— Значит, уезжаете, Анна Фоминична, — поприветствовав хозяйку, сказал он. — Мы тут говорили, — продолжил председатель. — Жалко вас отпускать.

— А что жалко-то? Я теперь не работница в колхозе, толку-то от меня, пенсионерки...

— Не скажите, Анна Фоминична, не к вам ли на днях бегали, когда Сима Бахарева в больницу уехала. Других молодых не допросишься подменить доярку, а вы — всегда пожалуйста. Да и вообще... Я вчера Платонова читал, писатель такой, у него фраза есть: «А без меня народ неполный». Герой один так говорит. Вроде как незаметный человек, а уедет, и не хватает его... Вон, представьте, например, что Капитолина Григорьевна сейчас бы исчезла, право, скучнее сделалось бы в деревне...

При упоминании о Капке Анна Фоминична даже улыбнулась.

— Ну, ничего, внука или внучку поднимете и вернётесь...

— Не знаю, Георгий Сергеевич, может, и насовсем. Вон и распродала все поч-

ти. Да и вообще, года-то на убыль идут, надо к молодым прибиваться, а то и воды будет подать некому...

— Ну, вещи — дело наживное, а воды... воды, бывает, не подадут, даже если кран рядом... Я это не про ваших, конечно. Алексея хорошо знаю, сын заботливый, но проблема отцов и детей не исчезла, — туманно закончил он.

Уже уходя, нерешительно предложил:

— Может, продадите колхозу дом-то. К нам зоотехника обещают прислать...

— Нет, Георгий Сергеевич, рука не поднимается...

— Ну, тогда счастливо вам. Машина, как и обещал, будет в девять.

Город понравился Анне Фоминичне. В последний раз она была здесь лет семь назад, да и то проездом с курорта, и кроме вокзала ничего не запомнила. Поэтому в ближайший выходной день Алексей взялся ей показать Читу, и они долго ходили по городу, потом приехали на Мемориал, и Анна Фоминична, читая длинные списки, нашла несколько Беспровзванных, только с разными инициалами, тихо заплакала, представив мужа, который умер-то ещё не старый, а скорее от ран.

Больше они уже никуда не пошли, и до самого дома обоих не покидало грустное настроение, которое ни Алексей, ни Анна Фоминична не пытались сбить.

Нина родила мальчика, которого в честь деда назвали Степаном, и вся жизнь в квартире завертелась вокруг этого беспокойного существа...

Спала Анна Фоминична в комнате с внуком, по ночам большей частью вскакивала к нему сама, постепенно совсем отучив Нину. Быть бабушкой было ново и приятно, внук рос и, казалось, больше тянулся к Анне Фоминичне, чем к Нине.

Но бывали ночи, когда Анне Фоминичне никак не спалось. И тогда она до утра глядела в тёмный проём окна, слушала редкое шуршание проходивших машин и думала, думала. Даже самой себе не признавалась, что одинока рядом с сыном и невесткой, что тоскует, и лишь внук скрашивает тоску.

С Ниной отношения у них не заладились. Однажды, усыпив Степку, сели пить чай. Алексей рассказывал что-то смешное, и Анна Фоминична пробовала изобразить Капку. Вышло похоже, Алексей засмеялся, а Нина, скучно пожав плечами, вдруг заявила: «А зря вы, мама, ей комод отдали. Он скоро опять в моду войдёт, сейчас мебель в стиле ретро в ходу»... Анна Фоминична обиделась на это, замолчала и больше не пыталась вспоминать о своих деревенских знакомых.

...В их подъезде жили ещё несколько старух, с которыми она познакомилась, катая, как и они, колясочку по двору. Но бабки были все городские и, как ей показалось, неинтересные. Они ловко сплетничали, сидя на лавочке рядком, но сплетничали не как Капка, по-свойски и безвредно, а как-то тяжело и зло. Анна Фоминична стала их сторониться, бабки посчитали её гордячкой. И Анна Фоминична чувствовала спиной, как неодобрительно глядят они ей вслед.

Главная ссора с невесткой произошла из-за пустяка. Под вечер Нина собрала маленькую постирушку, включив в ванной воду, но тут раздался звонок, к ней пришла соседка, такая же молодая мамаша. Нина пригласила её в комнату, и они оживленно зашебетали. А в то время вода мощной струёй продолжала бить из крана.

Анна Фоминична завернула кран и, заглянув в комнату, проговорила:

— Я воду выключила, чего зря хлещет...

Нина встрепенулась:

— Я вам, мама, не указываю, когда вы тарелки вытираете вместо того, чтобы на сушилку класть. И вы мне не указывайте! У нас не деревня, воды много, пусть течёт, за неё плачено...

Она вдруг припомнила, что Анна Фоминична хлеб режет кусками — гостям

стыдно подать, что кашу Степке варит неправильно, и одевает внука легко, хотя на улице минус десять.

Оказывается, за год совместного житья Анна Фоминична делала всё не так и чуть ли не назло невестке...

Когда Алексей пришёл с работы, в доме стояла гнетущая тишина. Даже внук, словно что-то понимая, притих и безропотно лёг спать.

Анна Фоминична, накладывая сыну котлеты и подогревая чай, глазами указала на плотно закрытую дверь в комнату молодых.

— Сурьёзно поговорили мы с невестушкой-то... Я так поняла, что дело я своё сделала и теперь можно убираться восвояси.

— Ну что ты, мама, как можешь так говорить?!

— А так, сынок, прямо было сказано, мешаю я вам...

— Ну, перестань, мама, чего между женщинами не бывает...

— Воды ей, понимаешь, не жалко, — продолжала Анна Фоминична. — А я не люблю, когда вода зря бежит. Потаскала бы она, как я в своё время, ведёр этот сто на коромыслах, так каплю берегла бы... Да что вода, не в ней дело, — устало махнула она рукой. — Уеду я, Алёша, домой уеду.

— Ну, мама... — начал было Алексей, но, глянув на её лицо, уткнулся в тарелку.

Анна Фоминична вернулась в деревню в ту же пору, что и уезжала. Дул ещё не зимний, но крепкий ветер, день был серенький, серой показалась и деревня. Машина остановилась у её дома, и у Анны Фоминичны вздрогнуло сердце. Из трубы струился легкий дымок. Амбарного замка на двери не было, а сама дверь была распахнута, и в проёме стояла Капка с веником в руке. Увидев Анну Фоминичну, Капка кинулась к ней и по обыкновению зачистила:

— Ты уж, Анна, извиняй, что без тебя хозяйничаю. Я ведь всю ту зиму топила и нынче не бросаю. Чуяла, что вернёшься.

Алексей помог занести в избу вещи, не глядя на мать, проговорил:

— Мне пора ехать. Завтра на работу, не могу день терять. Зря ты это всё, мама, затеяла...

Анна Фоминична, оглядывая избу, словно не слышала его слов, удивлённо воскликнула:

— Ты чего же, Капка, комод-то не взяла и картину оставила?

— А на кой ляд мне они. Это же я так болтала, что возьму, для твоего успокоения, что вещи в руках... Мне вот письмо писать некому, никого не допросишься...

Повернувшись к сыну, Анна Фоминична спросила:

— Чай-то попьёшь или так поедешь?

— Нет, мама, не до чая. Ехать надо.

— Ну, с Богом, поезжай, сынок, я теперь дома... Стёпку поцелуй. Летом приезжайте в гости. Все приезжайте...

Алексей кивнул, шагнул в сени. И Анне Фоминичне показалось, что он вздохнул с облегчением.

1981 год

Дорогие мои старики

Я сидела на крыльце совхозной конторы, ждала автобус. Из-за угла палисадника появилась старуха, одуванчиком прилепилась рядом.

— Ты, девка, до Дурбачей?

Я кивнула.

Старуха похлопала по карманам необъятной кофты, вытащила смятую пачку крепчайших сигарет.

...С некоторых пор я всё пристальнее приглядываюсь к старым людям. А ведь этого интереса не было ещё лет десять назад. Что тому причина? Собственное мудрение, попытка разгадать никогда и никем не разгаданный смысл жизни, или предчувствие того, что и меня ждёт на горизонте бытия? Не знаю, не знаю... Но старики притягивают, оведают тайной. Что так крепко держит их на земле, почему среди них (за редким исключением) нет нытиков, жестоких, нравственных уродов?..

Старуха докурила сигарету, по-мужски поплевала на окурочок, втоптала в пыль. Ещё раз пошарила в карманах кофты, достала две помидорины:

— На, попробуй, с моего огорода.

Убедившись, что я дожевала последний кусочек, удовлетворённо вздохнула:

— Что, вкусно?

Я кивнула.

— Вот интересно: рассада одна была, а одни помидорки маленькие, с кислинкой, другие — большие и сладкие.

— Сорта разные, наверно.

— Не, с одного пакетика сыпала... А ты зачем в Дурбачи?

Объяснила.

— А я за дроблёнкой. Директор девять мешков разрешил купить. Одна живу, пенсия пятьдесят рублей, леший его знает, зачем хозяйство держу. Опять же без него скучно.

Мимо к магазину, ноги колесом, катит старая бурятка. Моя старуха весело окликает:

— Данга, ты, чай, за хлебом? Не шустри, ещё не подвозили.

Та останавливается, подслеповато щурится.

— Что, не узнаешь? — веселится старуха.

— Степанида, что ли? — неспешно роняет бурятка.

— Я самая.

— Куда навострилась?

— А в Дурбачи, какого-нибудь пенсионера завлекать.

— Куды тебе, завлекалка, борода вон седая растёт.

У старухи точно — три седых волоса воинственно топорщатся на остром подбородке.

— И не скажи, — пуще веселится она. — Подчепурюсь, губы накрашу, ишо за молодую сойду.

Бурятка качает головой и направляется дальше.

— А на чём обратно дроблёнку-то повезёте? — спрашиваю бабку Степаниду (теперь знаю, как ее зовут).

— Вот печаль! На току кака-нибудь машина будет, сговорюсь с шофёром, рублика три дам, ничё, справлюсь.

Всю дорогу до Дурбачей она кричала мне в ухо про пьяницу-зятя, тыкала пальцем в окно и критиковала плохо завершённые зароды, под конец, всучив ещё пару помидоров, соскочила с высокой автобусной подножки.

Ток был закрыт, его заведующий (я его знала), суетливый, хитрый Мироныч,

наверно, распивал чай, и выгнать его на работу могли лишь большие начальники, о чём я и сказала бабке Степаниде. Но она не огорчилась, кинула мешки у ворот, почти не подмяв, пристроилась на них и приготовилась ждать.

Автобус заворчал, и мы поехали дальше. Бабка Степанида весело дымила, с удовольствием оглядывая тёплый августовский мир. Пронзила простая мысль: а ведь я больше никогда не увижу её, весёлую бабку Степаниду, угощавшую меня помидорами. Не увижу, поскольку вряд ли приеду сюда в ближайшие годы, а там много что изменится, произойдёт...

Почему им интересно жить? Почему, несмотря на хвори, болезни, каждую весну моя соседка Ковалиха, которой за семьдесят, пластается, как она говорит, на картофельном поле, а потом и на огороде всё лето. В её кладовке все стены увешаны пучками сушеных трав, она лечится их отварами. В поясницу стреляет или нога ноет — заварит чабрец, чагу, ещё что-то, глядишь, снова молотит тяпкой по сорнякам. Втайне я предполагаю, что травы — это скорее психотерапия, а от всех болезней Ковалиха лечится работой. Вот отними её, тогда точно — сляжет. А трудится она истово, без продыху, пойдёт огребать или копать картошку — не угонишься. Руки так и мелькают, седой клоч из-под платка выбьется, но не присядет.

Иной раз прибежит к нам:

— Девоньки, сѣдни како число и день-то?

Скажем.

— Ой, лешеньки, я ж баню пропустила. С этой огородиной всё забудешь!

Голова у неё трясется, спина крючком, руки в узлах и венах, а голос — тонко-звонкий и весёлый.

У хороших старух всегда такой голос. Однажды на лавочке слышала, как она о смерти рассуждала. Что, дескать, деньжонок на смерть скопила, в тягость детям не была, и в этом деле они не потратятся. В комодe всё необходимое приготовлено.

— Гурьяниху вон как браво хоронили, помнишь? - обращается она к своей соседке Самсоновне. Та соглашается.

Я помню, как хоронили Гурьяниху. Рвал душу духовой оркестр, было много венков, плакали родственники, все старики и старухи села шли за гробом. И, казалось, встань Гурьяниха, она бы с гордостью посмотрела на свои похороны.

Почему у них, стариков, нет страха, разлада в душе при упоминании о смерти? Почему в таком ладу душа и сознание? И опять я не знаю, а могу только предполагать. Той же Ковалихе выпала судьба нелёгкая, диктуемая военным временем, голодухой, безотцовщиной её семерых детей. Но всех подняла, на ноги поставила: механизаторов, врача, летчика, бухгалтера... Они трепетно любят свою мать, зовут на «вы», семидесятилетие её праздновать со всех краев страны приехали. А она весь праздник сама и подготовила: чуть ли не всерьёз обиделась, когда попытались её от печи увести. И каждому гостю вручила по куску своего «фирменного» пирога с капустой.

...Стоицизм, понимание жизни, мудрое принятие старости приходит, наверное, ко всем. Вспоминаю деда Кеху, как мы, дети, его называли.

Сухонький, маленького росточка, очень подвижный, он ловко, я бы даже сказала, с вкусным артистизмом вершил зароды. Только ему доверяли «дела венец».

Вот как-то к вечеру пошли за водой на ключ, чтоб сварить чай для всего табора. Светло было, тихо, даже комары куда-то исчезли. Наполнив ведро и котёл ключевой водой, присели на корягу.

Дед Кеха был молчалив от природы, а тут разговорился.

— Благодать-то...

Он обратил ко мне сухое лицо, на котором светло голубели чуть выцветшие глаза.

— Ты погляди, дали-то какие, нюхни, как трава пахнет...

Солнце закатывалось за сопку, щемяще-пронзительно чувикала какая-то пичужка, увядающая кошенина исходила ароматом.

— Семь десятков прожил, — тихо проговорил дед Кеха, — а ещё бы столько...

Он умер через год. Но до сих пор в нашем маленьком огороде, ведущем на большой, картофельный, исправно действует калитка, которую он смастерил. Узорчатая, лёгкая. Казалось, зачем украшать вещь, что призвана быть чисто утилитарной, и видеть её, кроме хозяев, некому. А вот дед Кеха выпилил затейливые балясины, под гвозди положил кусочки жести. Почти двадцать лет калитке, а служит...

Ну, ладно, эти старики при детях и внуках жили и живут, а те, что совсем одиноки? Передо мной письмо, присланное из дома престарелых. Его подписали десять человек: Кузеванов, Липягин, Голубинский, Смирнова и другие.

И вот что удивительно. Без тоски, без надрыва рассказывают они о своём житье-бытье, как помогают друг другу, как сохранили способность радоваться солнечному дню, ветке багульника, хорошей книге или кинофильму. Хотя судьбы-то горше не придумаешь. Кто действительно беспомощен и одинок, а кого сдали сюда... дети. Но не корят их, не проклинают, благодарны, что хоть весточки шлют, раз в год навещают.

Первым моим движением было — кинуться по адресам таких, с позволения сказать, детей, публично предать их анафеме, суду общественности, но, как бы предваряя этот порыв, старики на следующей странице письма попросили:

«Если будете публиковать наш рассказ, то о детях выбросьте. Мы не хотим, чтоб вся область знала, нам за них будет больно».

И ведь правы старики. До детей потом, когда-нибудь потом дойдёт весь ужас содеянного, и содрогнётся их душа, но... будет поздно.

Красива ли старость? Вы знаете, да! Великие художники эпохи возрождения писали стариков и старух с не меньшим наслаждением, чем Мону Лизу. В чём их притягательная сила? Гречушные пятна на руках, обвислые щеки, лысины, снег в волосах. Всё искупает свет, льющийся из глубины души. Умиротворённый или бойцовский, но в каждом случае пришедший к общему знаменателю — «я жил».

...Гляжу на них, стариков, у всех за плечами коллективизация, война, сорок лет мира. Всё было, всё. И начинаю понимать природу интереса к ним. Всё ведь просто. Пока они есть, пока живут, моё поколение спокойно — между нами и небытием — стена, составленная из этих хрупких, болезненных, но таких надёжных людей. Уйдут они, и мы окажемся у края. Хватит ли сил, душевной закалки, чтобы так же спокойно и мудро взирать вниз?

Не знаю! Вот этого сказать не могу. Почему и молю: живите долго, дорогие мои старики. Старость ваша — это тоже труд, это ноша, которую надо пронести с достоинством.

1985 год

Пересохший колодец

В Улётовском районе немало красивых, по-своему своеобразных сёл. Но одно из них, Улуты, я выделяла особенно. Выделяла, ибо прошло уже шесть лет, как оно перестало существовать.

В Улутах довольно часто бывала в пору его кипучей жизни. В Забайкалье никогда не существовало сёл, подобных деревням средней полосы России. То есть без света, дорог, медобслуживания, кино. В тех же Улутах до прихода в 60-х годах государственной электроэнергии бойко тарахтел движок, давая свет в клуб, избы, магазин. Связь с «большой землёй» практически не прерывалась, хотя село и располагалось за рекой Ингодой в 12 километрах от центральной усадьбы колхоза имени Ленина — села Черемхово. Когда вставала река по осени или расходилась весной, то, чтобы попасть в Улуты, делали «крюк» длиною в 36 километров через мост.

Улутовцев от жителей других сёл отличали мягкость характера, несуетливость и какая-то, я бы сказала, поэтичность в общении с природой. Всегда останавливалась на постой у Александры Афанасьевны Лоскутниковой, скромной, очень душевной женщины, матери трёх здоровенных парней-механизаторов. Как-то мы пошли с ней ранним утром за голубицей. Бойко шагаем лесной тропой, торопимся — обернуться надо до обеда. Вдруг слышу, окликает меня тётя Шура:

— Глянь, словно три сестрички стоят, — кивнула она в сторону трёх тоненьких берёз, выросших из одного корня. — Вишь, как тянутся, каждая в свою сторону. Вот так и в семье бывает, — задумчиво добавила она. — Вместе растут, а потом в разные стороны.

Полубовались берёзками, спешим дальше.

— Слышь-ка, — опять окликает тётя Шура. — Понюхай, как пахнет, правда, хорошо? — и она протягивает ветку полыни. — Я эту траву про себя вдовым цветком зову. Такая же горькая доля...

Длинными тёплыми летними вечерами после работы улутовская молодежь собиралась у клуба. Но внутрь здания не заходили, сидели на скамейках, ступеньках крыльца. Разговоров было много, общих, мирных, почти домашних. Потом шли смотреть кино. Чаще всего картины были про «шикарную жизнь», с красавицами в длинных платьях, яхтами, автомашинами. Парни хмурились, глядя, как очередной киногерой небрежно обнимает блондинку, девчонки вздыхали, украдкой потирая натруженные после дойки руки.

Но кино скоро забывалось, своя жизнь, хоть и проще, но ближе, из Улут редко-редко кто уезжал на чужую сторону. Мужчины сеяли хлеб, ухаживали за скотом, женщины работали на ферме, подростки и ребяташки промышляли в тайге, ходили в ночное, ездили на покос.

Зимой население села несколько уменьшалось. Окончив четыре класса, ребята отправлялись в Черемхово — учиться дальше. Они быстро «чужали» на стороне, нахватывались незнакомых словечек, чем пугали своих матерей. Но, побывав дома, снова становились своими, улутовскими.

Большим событием в селе был уход или возвращение из армии. Гуляли все двадцать домов, слезы лили и мать, и вся родня, а в родстве, почитай, состояло всё село. И был один обычай, пожалуй, более нигде мною не подмеченный. У выхода из села, рядом со складом зерна, стоял колодец. Был он вроде ничейный, но воду из него брали все. Мужики, когда подходил срок, по очереди чистили, меняли подгнившие венцы. И колодец жил, дарил водой, необычайно холодной и вкусной. Парень, уходивший в армию, перед тем, как сесть в колхозную машину, собственноручно доставал ведро воды и прямо через край отпивал несколько глотков. Это был залог того, что он вернётся на родину.

Так оно и было. Возвращались, женились, чаще всего жили с родителями или сообща ставили дом где-нибудь неподалёку. И продолжали родительское дело: пастили хлеб, выпаживали скот, копали картошку, доили коров.

Со временем появились в селе телевизоры, мотоциклы, машины. Теперь выскочить в Черемхово и Улёты было вовсе пустячным делом. И всё равно, возвращаясь из шумной толчеи райцентровских магазинов, тётя Шура говорила сыновьям: «Нет, у нас лучше. Тихо, вольно и красиво».

Так бы и шла здесь жизнь — простая на первый взгляд, безыскусная, а на самом деле — сложная и мудрая. Однако всё настойчивее стал повторяться слух, что Улуты скоро расформируют (это трудное слово заменили более простым — растащат), а всех переселят в Черемхово. Люди поначалу отмахивались, не желая верить, по русскому обычаю рассуждая: «Авось, пронесёт!», пока в один из мартовских дней их не собрали в клуб на беседу.

Выступали председатель колхоза и человек, прибывший из района. Председатель не суесловил: решайтесь, делается это для вашего же блага, все переедете в Черемхово, кто хочет — со своими избами, обеспечим транспортом для перевозки, а нет — дадим квартиры на месте. И работу получают все по своему желанию.

Зал настороженно молчал. Потом встал Илья Гончаров и сказал:

— А я баню по осени отстроил. Гараж опять-таки новый недавно закончил. Что же мне — всё это бросать?

Лицо его стало злым и одновременно растерянным.

— У вас в Черемхово выгон для скота с гулькин нос, — продолжал он. — Да мы ещё свою скотину привезем, где пасти-то?! Чтоб она всё лето на подсосе ходила, тошала. Здесь вон какая благодать! Для чего вы нас с места снимаете?!

Председатель замаялся, перевел взгляд на человека из района, дескать, помогай, товарищ...

Тот встал, поправил очки и, энергично рубанув ладонью воздух, начал:

— Это делается, товарищи, для вашего блага. Ну что вы здесь живёте на отшибе, без настоящей культуры?..

— Да у нас в деревне двадцать телевизоров! — перебили его из зала.

—...Без настоящей культуры, — повторил человек из района, словно не слыша этого выкрика. — Без квалифицированной медицинской помощи, без порядочной школы для ваших детей. Кроме того, идёт тенденция к переводу сельского хозяйства на промышленную основу. Что значит ваша молочно-товарная ферма? Это же тридцатые годы! В Черемхово скоро будет построен животноводческий комплекс, и всё стадо переведут туда, там всё, повторяю, всё будет механизировано. А здесь землю распашут и засеют культурами, какие надобны колхозу.

...Из клуба расходились молча, не глядя друг на друга. Тётя Шура мне потом рассказывала:

— Пришла я в избу, глянула на стены и давай плакать, заливаться слезами. Я здесь выросла, дети мои выросли, на погосте мать с отцом лежат... Да мне вон та сосновая роща у школы дороже всякой большой культуры. Как же можно всё это бросить? И зачем?

Несмотря на сопротивление улутовцев, великое переселение началось. Большая часть семей переехала в Черемхово, десять человек — в город, а несколько остались-таки в Улутах, переезжать они пока не хотят.

А теперь позвольте немного отвлечься. Второй год в улётовской районной газете регулярно появляется объявление о том, что меняется двухкомнатная благоустроенная квартира в Чите на собственный дом в Улётах.

Рассказала об этом знакомой улётовской пожилой женщине, обладательнице дома с садом и приусадебным участком.

— Меняйтесь, тётя Поля, у вас ведь дети в городе...

— Что ты, что ты! — замахала она руками. — Мне хоть и восьмой десяток, а из ума ещё не выжила, чтоб в город ехать. Сыны-то вон сюда появятся — я им картохи дам, сала, капустки, мяса. Вот уже, считай, шесть человек не у государственного котла стоят. Да и я пока на земле, она меня худо-бедно выручит.

...Земля никогда не предаст, если ты её не предашь — таков закон, установка бытия настоящего селянина. Вот почему не находится желающих на столь заманчивое предложение — занять благоустроенную квартиру в городе.

Теперь вернёмся к улутовцам. Помните, десять человек уехали в город.

— А собирались ли они до этого? — спросила я тётю Шуру.

— Два-три, не больше. Остальные и не помышляли, — как-то печально показала она головой.

Уехали, потому что их подтолкнули к этому, сняли с насиженного места, оторвали, как бы высокопарно это ни звучало, от земли отцов.

«Ах, мы вам не нужны здесь, тогда вообще уедем», — так или примерно так рассудили те, кто подался (как их ни уговаривали) в Читку.

Тётя Шура вместе с сыновьями поехала в Черемхово. Как ей скучно и тоскливо было первые годы! Пусть не обижаются на меня коренные черемховцы, но село их, пожалуй, одно из сереньких и бесхозных в районе. Повалившиеся палисадники, оторванные ворота. Зелени мало, а та, что есть, загублена скотом. Многие дома стоят голые, не окружив себя черёмухой или хотя бы неприхотливыми тополями. И, конечно, попав в такую безрадостность, тётя Шура пала духом и долго молчаливо страдала тоской по своим Улутам.

Как я уже говорила, выехали из деревни не все. Остались сёстры — доярки Сергеевы, лесник Богодухов, Леонид Лоскутников, Алексей Сенотрусов. Школу здесь ликвидировали ещё раньше и с великой поспешностью. Клуб обветшал, но стоит. Часть изб — с забитыми окнами и дверьми, часть перевезена. Остался и магазин (надо же людям где-то покупать хлеб, спички, муку, папиросы). Есть нужда в рабочих руках. Как ни парадоксально, но впоследствии сюда приняли три семьи переселенцев, время от времени завозят работников, которые ходят за скотом. Поговаривают, что скоро установят устойчивую телефонную связь. Ферма продолжает работать, и на неё отпускается план, как и в былые, добрые времена.

...Когда после долгого перерыва я приехала в Улуты, уже пережившие реорганизацию, меня поразила схожесть этого села с послевоенной деревней. Хотя моё поколение, к счастью, не видело войны, память по кино и фотографиям хранит вот именно такие деревни, через которые прошло военное лихолетье: в голом поле сиротливо стоят русские печи с останками труб, а кругом — израненная земля.

Грустно было бродить меж этих печей, некогда служивших очагом для целой семьи, обогревавших в стылую забайкальскую зиму. Грустно всё это было видеть, а каково же здесь жить?

— Ничего, — храбрился Леонид Лоскутников. — Пока мы здесь — деревня будет жить, со временем, поди, вернётся кой-кто. И потом добавляет. — Я так и не понял, для чего деревню разорили?

Действительно, от того, что людей перевезли в Черемхово, дела в колхозе ощутимо не улучшились. Животноводческий комплекс строится уже семь лет, и конца этой стройке не видно. Кое-кто из улутовцев переметнулся на промышленное производство, несколько семей постарались на новом месте отделаться от подсобного хозяйства. Прав был Илья Гончаров, когда спрашивал, где пасти своих коров и сено косить. Что ни говори, а в Улутах эта проблема решалась проще.

Центральная пресса, особенно «Литературная газета», сначала осторожно, потом всё решительнее заговорила о перегибе в расформировании «неперспективных» деревень средней полосы России. Хотя для этого оснований было больше, чем в Забайкалье. Кто видел Нечерноземье осенью или весной, запомнил, конечно, непроходимые, буквально непроезжие дороги, ведущие к малым селам. С наступлением распутицы жизнь там чуть ли не затихает.

Забайкальские сёла всегда жили крепко, ладно, на века. Причин к «вымиранию» у них не было. Однако волна реорганизаций докатилась и до нас. И если в одних районах к этому пришли осторожно, то в других начали рубить с плеча. А обоснованно ли это, соразмерно ли с местными условиями — интересовало немногих. Хотя следовало бы задуматься о том, что тут в первую очередь решается судьба людей. Во всяком случае, безболезненно такие реорганизации не проходят. Возьмём, скажем, тех, кто вообще покинул Улётовский район. Или же ту тётю Шуру, которой, как она говорит, до конца жизни будет сниться её дом в Улутах, сосновая роща у школы.

«Сантименты», — подумает кто-нибудь по этому поводу. Ничего подобного! Это частица великого чувства Родины, которым издревле был силён русский человек. И это чувство тоже требует уважения.

Побывав в последний раз в Улутах, я за несколько минут обошла семь уцелевших изб. Сопровождал меня Леонид Лоскутников. Остановились мы у колодца. Ведро на цепи уже давно не было, пропала и крышка, что закрывала сруб.

— А что, — спросила Леонида. — Воду из колодца берёте?

— Нет, — покачал он горестно головой. — Кто во дворе скважины забил, у кого свои колодцы появились. Я поначалу смотрел за ним: достану воду, отопью и чувствую, что вкуса прежнего-то нет. Ведь колодец ровно человек... Чем больше отдаёт себя людям, тем чище и возвышеннее душа. Так и колодец: чем чаще из него черпаешь, тем слаще и холоднее вода...

А однажды пришёл, торкнулся ведром — нет воды...

* * *

Ну и что, скажет иной читатель, зачем теперь ворошить старое, говорить о том, чего нельзя исправить, нужно ли вспоминать ошибки? В конце концов, на то они и ошибки, чтоб на них учиться.

Недавно, будучи в командировке в селе Верх-Талача Карымского района, услышала от местных жителей, что у них хотят ликвидировать начальную школу. Председатель исполкома сельского Совета подтвердил это, посетовав, что депутаты и люди — все против этого, а районо настаивает.

...В Улутах вначале тоже ликвидировали школу.